

Эра магов шаг назад



Adi Riel

Adi Riel

Эра магов - шаг назад

«Автор»

2026

Riel A.

Эра магов - шаг назад / A. Riel — «Автор», 2026

«Эра магов: шаг назад» — это глубокая социальная фантастика с элементами притчи, исследующая изнанку эволюции человечества. В мире, где появление телепатии и абсолютной искренности избавило общество от лжи, плата за идеальный порядок оказалась жестокой: атрофия эмоций, угасание эмпатии и постепенная гибель искусства. Главная героиня, обладающая ментальным даром и занимающая высокое положение в строгой социальной иерархии, сталкивается с миром «обычных» людей. Погружаясь в их живую, несовершенную и эмоциональную жизнь, она осознаёт, что без способности глубоко чувствовать, сострадать и даже ошибаться, человечество теряет свою душу. Это история о нелегком выборе между холодным, безошибочным контролем и возвращением к настоящей, пусть и уязвимой, человеческой природе.

© Riel A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Рождение иных	6
Глава 2. Порог	8
Глава 3. Тень на лице	10
Глава 4. Дочь дома	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Adi Riel

Эра магов - шаг назад

ЭРА МАГОВ — ШАГ НАЗАД

роман

Глава 1. Рождение иных

Говорят, это началось без грома и знамений — так же тихо, как начинается всё по-настоящему важное.

Ребёнок родился обычным на вид: десять пальцев, здоровые лёгкие, крик, требующий молока. Мать заметила это на третий день — когда, качая его на руках в темноте, вдруг с необъяснимой ясностью поняла, что он голоден, ещё до того, как он заплакал. Она сочла это материнским чутьём. Соседка, у которой тем же летом родилась дочь, решила иначе: девочка, лежавшая в колыбели, однажды приподнялась над простынёй на палец, на два, и снова опустилась — будто во сне забыла, что умеет ходить только ногами.

Так это выглядело сначала: не эпидемия, не откровение, а череда странностей, которые проще было объяснить совпадением, чем признать закономерностью. Люди умеют долго не верить в то, что меняет привычный порядок вещей.

Но в мире, где у каждого ребёнка с ранних лет было при себе устройство, способное запечатлеть и мгновенно разослать любое мгновение его дня, странность не могла оставаться странностью в узком, домашнем смысле слова слишком долго. Запись, снятая соседским мальчиком почти случайно, — та самая девочка, приподнявшаяся над простынёй, — облетела сначала его сверстников, потом их родителей, потом вышла далеко за пределы одного двора, одного города, обрастая по пути десятками похожих, а вскоре и откровенно поддельных роликов: дети, размахивавшие руками перед камерой в надежде хоть на миг сдвинуть с места какой-нибудь предмет, подростки, выдававшие обычную ловкость рук за нечто большее, взрослые, зарабатывавшие на всеобщем ажиотаже там, где не находилось ничего, кроме желания понравиться зрителю.

Мир не сразу разобрался, где среди этого потока находится подлинное, а где — подражание. Первые недели прошли скорее в атмосфере лихорадочного, почти праздничного любопытства, чем страха, — редкое, диковинное явление, годное для сотен пересудов и миллионов просмотров, но ещё не осознанное как нечто, способное изменить самое представление о том, кем является человек.

Прошло не так много времени, прежде чем стало ясно: за потоком подделок и восторженных перепостов стоит нечто настоящее, и подлинных случаев — куда больше, чем казалось поначалу. В одном поколении рождённых оказалось так много, что скрыть это стало невозможно, даже если бы кто-то очень постарался. Кто-то слышал чужие мысли раньше, чем те успевали стать словами. Кто-то мог остановить падающий предмет одним взглядом, будто бы придерживав время рукой. Были и такие, чьи дары не поддавались объяснению вовсе — тонкие, едва уловимые, как способность безошибочно чувствовать чужую боль на расстоянии комнаты, или предчувствовать дождь за три дня, — и именно эти, самые тихие дары труднее всего было отличить от очередной попытки подражания, что на первых порах спасало многих из тех, кто предпочёл бы остаться незамеченным.

Тогда ещё никто не называл это даром. Называли — болезнью. Отклонением. Порчей.

Взрослый мир отреагировал так, как реагирует всякий взрослый мир на то, чего не может понять: сначала лихорадочным любопытством, обернувшимся вскоре недоверием, потом страхом, а страх, как известно, самый плодотворный родитель жестокости. Детей с необычными свойствами прятали — те немногие семьи, что умели любить сильнее, чем бояться, и что успели вовремя понять: стоит записи с их ребёнком разойтись достаточно широко, обратного пути уже не будет. Других — сдавали, порой те же соседи, что месяцем раньше снимали их со счастливым изумлением, а не со страхом. Так появились первые комиссии, призванные «выявлять» отклонения — благовидное слово для процедуры, суть которой была куда менее благородной.

Одарённых изучали, как изучают редкий, потенциально опасный минерал: с любопытством, но на расстоянии вытянутой руки, готовые в любой момент отступить или ударить первыми.

Были те, кто хотел заполучить их себе — не понять, а использовать. Ребёнок, умеющий безошибочно чувствовать ложь, стоил дороже золота для тех, кто вёл переговоры. Мальчик, способный на расстоянии сдвинуть камень, был ценен для тех, кто вёл войны. Одарённость быстро перестала быть только предметом страха — она стала предметом торга, а иногда и охоты.

Многие из первого поколения не дожили до зрелости. История не сохранила их имён — только общее, безликое упоминание: «эпоха гонений», как будто речь о явлении природы, а не о судьбах, оборвавшихся раньше срока просто за то, что кто-то родился иначе, чем ожидалось.

Сохранилась, впрочем, одна деталь, которую хронисты почему-то не пожелали стереть вместе с прочим: мальчик лет семи, чьё имя забыто, но чей поступок кто-то счёл нужным записать. Когда за ним пришли — соседи, подписавшие петицию о его изоляции и искренне убеждённые, что поступают правильно, — он не пытался спрятаться и не позвал на помощь дар, который едва успел в себе распознать. Он просто взял за руку младшую сестру, стоявшую рядом, и держал её руку до последнего, чтобы она не осталась одна среди тех, кто пришёл его забрать. Дальше запись обрывается — автор, судя по всему, не смог заставить себя дописать до конца. Но и оборванная, эта строка пережила своё время лучше многих завершённых.

И всё же они выживали. Не благодаря силе — силы в них было немного, дар в первом поколении был хрупким, непостоянным, часто причинявшим больше неудобства, чем пользы своим носителям. Они выживали благодаря тем немногим, кто, несмотря на страх, выбирал не отворачиваться. Матерям, прятавшим детей в подвалах. Учителям, закрывавшим глаза на то, что не укладывалось в программу. Соседям, молчавшим там, где донос был бы куда проще и безопаснее.

Так, поколение за поколением, число одарённых росло — не потому, что мир стал добрее, а потому, что выжившие передавали дальше не только дар, но и упрямство, с которым научились его прятать.

Их было ещё слишком мало, чтобы говорить о новой эпохе. Слишком много, чтобы делать вид, будто ничего не происходит.

Кто-то из хронистов того времени — имя его не сохранилось, как и многое из этой ранней поры, — оставил короткую запись, пережившую века куда лучше, чем её автор:

«Мы боимся не силы в них. Мы боимся того, что однажды сила окажется не в нас».

Он не знал, насколько окажется прав. И ещё меньше он мог предположить, что страх, породивший первую жестокость этой эпохи, спустя долгие поколения вернётся — но уже в других руках, и направленным в другую сторону.

Но это будет ещё не скоро.

А пока — маленькая девочка приподнимается над простыней на палец, на два, и снова опускается, будто во сне забыла, что умеет ходить только ногами. И где-то далеко от неё — плачет ребёнок, чья мать вот уже третий день чувствует его голод раньше, чем слышит крик.

Это только начало.

Глава 2. Порог

Мир не привыкает к переменам разом. Он привыкает к ним так же, как русло привыкает к новой реке — медленно, размывая старые берега и намывая новые, десятилетие за десятилетием, пока однажды никто уже не вспомнит, как текла вода прежде.

Поколение, пришедшее на смену первому, было многочисленнее. Дар, прежде хрупкий и почти всегда доставлявший больше тревоги, чем пользы, теперь всё чаще проявлялся полнее, устойчивее. Левитация переставала быть внезапным испугом посреди детской комнаты и становилась управляемым, почти будничным навыком. Чувствительность к чужим мыслям обретала форму, границы, что-то похожее на язык.

И вместе с тем менялось общество — менялось, если верить сохранившимся данным того времени, к лучшему настолько, что позднейшим поколениям это будет казаться почти сказкой.

Мир без лжи

Прежде всего исчезла ложь — не как явление вовсе, а как нечто, имеющее смысл. Сто-рона, ведущая переговоры о контракте, знала: если собеседник одарён, он всё равно услышит истинные условия сделки в её мыслях раньше, чем прозвучит официальное предложение, — и потому проще было называть настоящие условия сразу, честно. Судьи всё реже нуждались в свидетелях и присягах: правда, которую прежде приходилось вытягивать неделями дознания, теперь читалась в зале заседания за считанные минуты.

Соседние регионы, некогда готовые к вооружённому противостоянию по любому поводу, стали заключать соглашения куда охотнее прежнего — представители сторон, садясь за стол переговоров с одарёнными посредниками, уже не могли скрыть друг от друга своих истинных намерений. Согласно сохранившейся статистике тех лет, за три поколения после того, как дар стал по-настоящему массовым явлением, не было развязано ни одного крупного вооружённого конфликта — редкость, которую прежние века не знали никогда.

Появились сообщества нового типа, где одарённые и обычные люди не просто уживались, а усиливали друг друга: инженер без дара и монтажник с даром левитации вместе возводили опору для нового моста через пролив, один рассчитывал нагрузку, другой удерживал в воздухе многотонные секции с точностью, недоступной ни одному подъёмному крану. На производстве дар нашёл себе применение куда более будничное, чем можно было представить: сборочные линии, где прежде требовались десятки рабочих рук, теперь обслуживались единственным одарённым, способным одновременно удерживать в движении сотню деталей, — производительность выросла настолько, что часть прежних профессий попросту исчезла, а часть, наоборот, расцвела заново, потому что освободившееся время люди охотно тратили на то, что дару было не под силу вовсе: воспитание детей, уход за стариками, искусство. Появились новые виды спортивных состязаний, где левитация и обычная атлетика соединялись в зрелища, немыслимые веком раньше, — и лиги для тех, кто предпочитал состязаться без дара, оставались не менее популярными, разве что более редкими.

Появились и браки — простые, будничные, не считавшиеся ни подвигом, ни странностью, — между теми, кто слышал чужие мысли, и теми, кто не слышал ничего, кроме собственных.

«Опасения прежних лет, — значит, в одном из сохранившихся отчётов того времени, — оказались напрасны. Дар не разделил нас. Он всего лишь расширил то, чем мы всегда были — и, кажется, наконец избавил нас от того худшего, чем люди прежде так часто становились друг для друга: от лжи, от скрытности, от той тьмы, что рождается там, где один человек не может знать правды о другом».

Дети магов и дети без дара учились в одних школах, играли в одних дворах, выросли, не придавая особого значения тому, кто из них однажды поднимет над столом чашку взглядом,

а кто — только рукой. Так прошло несколько поколений — достаточно долгий срок, чтобы старики, помнившие ещё эпоху гонений, стали редкостью, а их рассказы — почти легендой. Если бы кому-то из живущих в ту пору сказали, что однажды это равновесие обернётся новой, только зеркальной несправедливостью, он, вероятно, счёл бы это дурной шуткой.

И всё же в статистике тех благополучных десятилетий сохранилась одна строка, куда менее восторженная, чем окружающие её документы:

«Число рождающихся с даром продолжает расти. Мы радуемся этому как доброму знаку — так же, как радуется садовник обильному урожаю, не думая пока о том, что делать, когда одного дерева станет больше, чем всего остального сада».

Строку эту почти никто не заметил тогда. Мир продолжал жить в своём хрупком, настоящем, заслуженном благополучии.

А число всё продолжало расти.

Незаметный рубеж

Перемены редко объявляют о себе заранее. Они просто происходят — а объяснение находится потом, задним числом, когда становится ясно, что мир уже не тот, каким был вчера.

К тому времени, когда это осознали, доля одарённых в новых поколениях давно переменилась за половину. Само по себе число ничего не решает. Решает то, что вырастает вокруг числа — привычки, ожидания, представления о том, что естественно, а что уже нет. Первыми это почувствовали не законы и не советы — они всегда приходят последними. Первыми это почувствовали разговоры за обеденным столом, тон учителя, обращающегося к классу, взгляд, которым пожилая пара провожала внука, только что впервые сдвинувшего ложку одним усилием мысли.

Никто не отдавал прямого приказа. Перемена шла тише и оттого куда надёжнее — через тысячи мелких выборов, которые каждый в отдельности казался незначительным. Учитель, чуть дольше задерживающий взгляд на одарённом ученике, потому что с ним было проще. Мастер, охотнее берущий в подмастерья того, кто мог одним движением руки поднять инструмент. Родители, с облегчением выдыхавшие, узнав, что дар в их ребёнке проявился, — облегчением, в котором звучало не только счастье, но и нечто похожее на страх за тех, кому это не досталось.

Дар становился нормой. А всё, что оставалось за её пределами, начинало восприниматься не как равноценная, просто иная часть общего целого, а как недостаток — то, что нужно если не исправить, то хотя бы объяснить.

В те годы, если верить сохранившимся архивам квартальной сети объявлений, в районе, где прежде совместная работа одарённых и обычных специалистов на одном объекте считалась обычным делом, начали появляться первые записи иного рода: «требуется работник со способностями» — короткая строка, встречавшаяся с каждым годом всё чаще, пока однажды не стала попадаться почти в каждом втором объявлении о найме.

Ещё не было слова для тех, кто рождался без дара. Оно появится совсем скоро — рождённое не в кабинетах учёных мужей, а где-то на улице, в быту. Но до этого слова оставались считанные годы.

Хронист, писавший об этом времени много позже, оставил запись, куда менее уверенную, чем те, что писались поколением раньше:

«Мы думали, что равновесие было целью. Оказалось, оно было лишь остановкой в пути — недолгой передышкой между тем, кем мы были, и тем, кем мы позволили себе стать, стоило числу наконец качнуться в нашу пользу».

Начиналась новая эпоха. И, как это всегда бывает с новыми эпохами, она начиналась незаметно — не с грохота, а с тишины, в которой постепенно переставали быть слышны голоса тех, кого некому было больше слушать.

Глава 3. Тень на лице

Ей было семь лет, когда она впервые увидела это выражение на лице матери — и не поняла его, хотя запомнила на всю жизнь.

Они гуляли в парке, держась за руки, и где-то на соседней скамейке громко переговаривались двое — мужчина и женщина, обычные люди, не маги. Ничего особенного в их разговоре не было: обычные слова о погоде, о каких-то домашних делах. Обычные слова обычных людей о повседневных вещах.

Но мать вдруг замедлила шаг. Что-то мелькнуло на её лице — быстро, почти неуловимо, точно тень от птицы, пролетевшей над дорогой. Не гнев. Не отвращение — этого девочка бы поняла и, наверное, испугалась сильнее. Это было что-то более тихое и оттого более странное: лёгкая, почти брезгливая гримаса, будто мать на мгновение услышала не разговор о домашних делах, а звук, который неприятно царапнул слух — скрип несмазанной петли, скрежет металла о металл.

— Мама, ты чего? — спросила девочка.

— Ничего, милая, — мать тут же взяла себя в руки, улыбнулась, повела дальше, вдоль аллеи, туда, где деревья расступались к пруду. — Просто задумалась.

Девочка не поверила, но не нашла слов, чтобы уточнить. Она была ещё слишком мала, чтобы понимать, что тень на лице матери не была задумчивостью. Она была рефлексом — тем самым, что жил теперь в каждом маге, глубже сознательного выбора: обычная человеческая речь, произнесённая вслух, звучала для тех, кто вырос среди телепатов, странно, неполноценно, как если бы кто-то пытался донести мысль, обмакивая палец в краску и медленно, неуклюже выводил её на стене, вместо того чтобы просто её передать.

Механизм

Жить среди телепатов — значит жить без стен. Мысль, не облечённая в слово, всё равно долетает до чужого сознания — быстрее, чем её успевают додумать до конца. В первые поколения магов это порождало настоящие драмы: чувство, вспыхнувшее внезапно, оказывалось прочитанным прежде, чем тот, кто его испытал, успевал сам его понять. Из поколения в поколение те, кто рождался с более сдержанным, приглушённым эмоциональным откликом, оказывались в чуть более выгодном положении: их мысли не ранили окружающих внезапной обнажённостью. И так, шаг за шагом, безо всякого плана, вид сам отобрал в себе способность глушить чувство прежде, чем оно успевало стать различимым для чужого разума.

Атрофия чувств была теперь не привычкой, а врождённым рефлексом — таким же неподконтрольным сознательной воле, как биение сердца. Маги не переставали чувствовать вовсе — они умели быть привязанными, тёплыми, испытывать нечто похожее на спокойную, ровную любовь. Но того порыва, что рождается внезапно, без спроса у разума, — этого в них почти не осталось. Их чувства были ровным, тёплым светом лампы. Не пламенем, вспыхивающим неожиданно и способным опалить.

Они называли это зрелостью. У этой зрелости, впрочем, была цена, которую замечали не сразу. Искусство в мире магов угасало тихо — оно просто переставало быть нужным. Живопись требует не только руки, способной держать кисть, но и внутреннего волнения, ищущего выход, — а внутреннее волнение у магов давно научилось гаснуть прежде, чем находило форму. Живо оставалось искусство лишь там, где ещё жили не притупленные чувства, — среди тех, кого уже привычно называли болтунами. Это считалось милым пережитком, простой, немного наивной особенностью тех, кто жил проще, — так смотрят на детскую игру, не подозревая, что в этой игре сохранилось нечто, давно утраченное самим наблюдателем.

Молчаливый барьер, выросший внутри магов, защищал их надёжно. От боли. От уязвимости. И от любви — тоже. Хотя признать это вслух не решался почти никто.

Слово

Девочка узнала слово чуть позже — на следующий год, в школе.

Слово было простым, почти безобидным на слух: болтуны. Так называли тех, кто говорил, вместо того чтобы думать друг другу напрямую, — потому что не мог иначе. Слово вошло в обиход быстро и незаметно. Никто не помнил, кто сказал его первым. Оно просто появилось — на детской площадке, потом в разговорах взрослых, потом, спустя ещё немного времени, в официальных документах.

В тот же год в школе появилось тестирование.

Прежде дети учились вместе — все, без разбора. Теперь, перед поступлением в старшие классы, каждого ребёнка проводили через короткую, почти игровую на первый взгляд процедуру: несколько заданий, определяющих степень проявленности дара. Девочка проходила её без страха — она давно уже чувствовала, когда кто-то рядом грустит, ещё до того, как тот успевал произнести хоть слово. Результат был ожидаем: способности выше среднего. Её распределили в школу, названную просто — «первая», без уточнений: всем было ясно, какая школа считается первой, а какая — той, куда отправляли детей, чей дар оказался слаб или не проявился вовсе.

Она запомнила день, когда её лучшая подруга по соседству, девочка с тихим голосом и привычкой петь себе под нос, не прошла тест.

Они не перестали дружить сразу. Но границы всё равно прочерчивались — медленно, неумолимо. Разные школы. Разное расписание. И однажды девочка поймала себя на том, что, слушая, как подруга что-то рассказывает вслух — обычными словами, длинными, неловкими фразами, — испытывает лёгкое, почти незаметное нетерпение, укол раздражения, который тут же устыдил её, но не исчез.

— Ты меня вообще слушаешь? — спросила подруга однажды, остановившись на полуслове.

— Слушаю, — соврала она, хотя мысленно уже давно опередила рассказ на два предложения вперёд, устав ждать, пока слова наконец дойдут до конца.

Подруга посмотрела на неё внимательно — не обиженно, скорее с той тихой настороженностью, с какой смотрят на человека, который вроде бы рядом, но куда-то уже начал уходить, — и просто договорила быстрее, скомкав конец истории.

Она вспомнила тень на лице матери в парке, у той аллеи возле пруда.

И поняла — не разумом ещё, а чем-то более глубоким — что тень эта была не случайностью. Что она однажды приживётся и на её собственном лице, если она позволит.

Она пока не знала, позволит ли.

Глава 4. Дочь дома

Дом, в котором она выросла, стоял на возвышенности — не случайно: чем выше положение семьи, тем выше, по негласному, но твёрдому обычаю, полагалось строить жилище. Дома здесь не громоздили этаж на этаж, как в старых кварталах внизу, а вытягивались тонкими, неведомыми на вид башнями, удерживаемыми не столько инженерным расчётом, сколько постоянным, рассредоточенным усилием десятков одарённых архитекторов-левитаторов, чья работа заключалась не в строительстве в привычном смысле, а в поддержании формы, — так, что здание казалось скорее замершим в воздухе жестом, чем построенной вещью. Из окна её комнаты открывался вид на весь квартал, а дальше, за ним, — на более приземистые, плотные крыши тех районов, где жили те, кому повезло меньше, — там дома строили по старинке, вес держал сам себя, а не чужая воля.

Она давно усвоила, хотя редко задумывалась об этом всерьёз, что мир магов внутри себя был устроен ничуть не проще, чем мир, разделённый на магов и болтунов. Большинство одарённых, о которых с гордостью писали в отчётах совета, никогда не видели башен, подобных родительскому дому, изнутри — жили в тех же плотных, приземистых кварталах, что и обычные люди, просто чуть выше по улице, работали руками не меньше, чем умом, и относились к семьям вроде её собственной с той же смесью почтения и глухой неприязни, с какой в иные времена относились бедные родственники к богатым. Дар делал их магами. Он не делал их равными друг другу.

Отец занимал одну из ведущих должностей в совете — том самом органе, что давно уже, поколение за поколением, определял направление, в котором двигалось общество. Он был человеком немногословным даже по меркам магов, ценил порядок превыше всего и искренне полагал, что мир, в котором он живёт, устроен настолько правильно, насколько вообще может быть устроен мир. Своей одарённостью он гордился тихо, без хвастовства, — но гордость эта проступала в каждом его жесте, в манере держать спину, в том, как он говорил о временах гонений, будто о давно преодолённой детской болезни, о которой неприлично вспоминать в приличном обществе.

Мать была другой. Она много путешествовала в юности, ещё до замужества, — по тем немногим уголкам мира, где старый уклад сохранился причудливее, разнообразнее, чем в столице. Она умела слушать не только мысли, но и слова — по-настоящему слушать, вникая, а не просто регистрируя их как фон, предшествующий более достоверной, телепатической правде. За это её иногда за глаза называли странной — мягко, не со зла, но с той снисходительностью, с какой смотрят на человека, чьи взгляды слегка не поспевают за временем.

Девочка, а теперь уже молодая женщина, была слеплена, казалось, из обеих этих натур сразу — отцовской собранности и материнского любопытства, которое та так и не сумела в себе изжить, даже прожив жизнь в кругу, где подобная черта считалась скорее слабостью, чем достоинством.

Она поступила изучать общество — не силы, не природу дара, как поступало большинство её сверстников из семей её круга, стремившихся к тем же постам, что и их отцы, а именно устройство человеческих связей: то, как люди — все люди, а не только одарённые, — строят между собой отношения, иерархии, привязанности. Выбор этот в семье восприняли по-разному.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.